

КАК НАС УЧИЛИ УМИРАТЬ



Аксель Панцер

Как нас учили умирать

<https://litres.ru/74646677>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ему пятнадцать. Германия уже проиграла войну, но Маттиас Крюгер об этом ещё не знает — или не хочет знать.

Раненый воспитанник Гитлерюгенда остаётся один в разрушенном доме. Патроны закончились. В руке — граната. Его учили, что плен хуже смерти, сомнение равносильно предательству, а настоящий немец должен погибнуть, но не сдаться.

И тогда в комнату входит советский солдат.

Маттиас ждёт ненависти, издевательств, выстрела. Вместо этого русский говорит с ним по-немецки и цитирует Гёте.

Так начинается война, к которой мальчика никто не готовил.

Война внутри него самого.

«Как нас учили умирать» — историко-психологический роман о ребёнке, которого сделали солдатом, и о мучительном возвращении к самому себе.

И о мужестве, которое иногда заключается не в том, чтобы сжать гранату в руке, а в том, чтобы разжать пальцы — и выбрать жизнь.

Аксель Панцер

Как нас учили умирать

АКСЕЛЬ ПАНЦЕР

КАК НАС УЧИЛИ УМИРАТЬ

Роман

2026

Глава 1. Один

27 апреля 1945 года к полудню стало ясно: в доме на перекрёстке кто-то остался. Четырёхэтажная коробка с проваленной крышей казалась мёртвой ещё с утра. По фасаду тянулись чёрные потёки копоти, оконные проёмы смотрели на улицу пустыми глазницами, а вывеска булочной на первом этаже висела на одном крюке и каждый раз вздрагивала от далёких разрывов. Сапёры быстро проверили подвал, связисты протянули вдоль стены провод, пехота прошла дальше. На карте дом уже отметили как очищенный. Через полчаса из окна второго этажа ударила винтовка. Сафонов, шедший у телеграфного столба, сначала будто споткнулся, потом сел прямо на мостовую и прижал ладонь к плечу. Второй выстрел выбил кирпич над головой сержанта. Третий пришёл уже с другого этажа. Стреляли редко, точно, без нервной суеты. Сначала решили, что в здании двое или трое. Потом нашли пустое окно, из которого стрелок успел уйти через пролом в соседнюю комнату. Через час стало понятно: против-

ник один, но дом знает хорошо и после каждого выстрела меняет позицию.

Андрей Лебедев лежал за обломком трамвайной остановки и смотрел на окна. В последние недели он научился ненавидеть такие дома — пустые только с виду. Война уже почти перестала быть движением фронта и превратилась в цепь отдельных комнат, лестниц, подвалов и людей, которые почему-то решали умереть именно здесь. За четыре года Андрей привык ко многому, но к мысли о последней пуле привыкнуть не смог. Чем ближе была победа, тем сильнее становилось нелепое желание не погибнуть теперь, когда уже можно было представить себе жизнь после войны. О ней говорили всё чаще. Не громко, будто боялись спугнуть. Кто-то собирался вернуться к жене, кто-то — искать родителей, кто-то мечтал просто неделю спать в чистой постели. Андрей не говорил о Ленинграде и университете, но иногда ловил себя на том, что вспоминает аудиторию с высокими окнами и старого профессора, раздражавшегося, если студент путал Гёте с Шиллером. Несколько лет назад это казалось важным. Потом стало казаться смешным. Теперь снова становилось важным.

— Немец? — спросил Сафонов, пока санитар затягивал повязку.

— А кто же ещё.

— Стреляет хорошо.

— Скажешь ему, если познакомитесь.

Сафонов поморщился, но улыбнулся.

— Сначала пусть доживёт.

Слова прозвучали легче, чем ситуация того заслуживала. Андрей посмотрел вслед санитару, уводившему Сафонова, и неожиданно подумал, что несколько месяцев назад никто бы не тратил столько времени на одного стрелка. Дом обошли бы, ударили из орудия, пошли дальше. Теперь, когда вокруг оставалось всё меньше войны, каждой смерти словно возвращалась её настоящая цена. Стрелок не торопился. Пули появлялись с паузами в десять, иногда пятнадцать минут. Он не стрелял по стенам и теням. Ждал движения. Один раз пуля ударила в ящик у санитарной машины, другой — срезала кусок штукатурки рядом с бойцом, перебежавшим улицу. Потом наступила тишина.

— Кончились патроны? — предположил сержант.

— Или ждёт ближе, — ответил Андрей.

Он знал этот тип тишины. Она не была мирной. Иногда человек, у которого кончались патроны, становился опаснее, потому что дальше ему уже нечего было экономить. К вечеру в соседнем квартале ещё шёл бой, но этот дом молчал. Солнце опускалось за крыши и окрашивало кирпичную пыль в мягкий золотистый цвет, совершенно не подходивший к разрушениям. Откуда-то тянуло дымом и варёной капустой. В подвальном окне соседнего дома показалась женщина, увидела солдат и исчезла. Потом снова выглянула — уже с белой тряпкой в руке. Андрей подумал: город не знает, что делать

с тишиной. За последние годы его жителей научили бояться сирен, приказов, облав, воздушных тревог, чужой формы. Теперь им предстояло привыкнуть к тому, что следующий звук может не означать смерть.

В дом вошли вчетвером. Двигались медленно, не героически. На первом этаже пахло гарью, мокрой древесиной и старой мукой. В бывшей булочной на полу лежали разбитые банки, стекло хрустело под сапогами. За прилавком нашли две пустые бутылки и детское пальто, аккуратно сложенное на табурете, будто хозяева собирались вернуться через час. На лестнице валялась маленькая туфля. Один боец машинально пнул её в сторону и тут же остановился, словно почувствовал неловкость. На стене висел перевёрнутый портрет в разбитой раме. Края бумаги обгорели, лица не было видно. На втором этаже нашли две стреляные гильзы. На третьем — ещё одну. Стрелок действительно перемещался по дому через проломы и комнаты, где иногда приходилось ползти по битому кирпичу. В одном месте он подложил под локти сложенное пальто, чтобы не оставлять следы крови на подоконнике. Значит, был ранен уже некоторое время назад.

— Упрямый, — прошептал сержант.

Андрей не ответил. Слово казалось слишком простым. Упрямство — когда ребёнок отказывается надевать шапку или взрослый не признаёт ошибку в споре. Здесь человек продолжал стрелять, хотя город был практически потерян, фронт расползлся, связь между подразделениями ру-

шила, а смысл обороны становился всё менее понятным даже тем, кто отдавал приказы. На третьем этаже они вошли в комнату, которая когда-то была детской. Обои со светлыми полосами, книжная полка, половина деревянного самолёта под кроватью. На стене висела школьная карта Германии. Рядом — фотография класса: три ряда подростков, преподаватель в центре. На полу лежала тетрадь. Андрей поднял её. На первой странице аккуратным почерком было выведено: Matthias Krüger.

— Школьник? — тихо спросил боец за его спиной.

Андрей почувствовал неприятный холод.

— Может, брат хозяина.

Он сказал это скорее себе. Из соседней комнаты донёсся шорох — едва слышный, будто ткань задела кирпич. Все замерли. Андрей первым вошёл в дверной проём. За рухнувшим шкафом, под обломком потолочной балки, лежал подросток. Лицо белое от пыли, на виске засохла кровь, правая штанина потемнела. Винтовка валялась рядом; затвор открыт. Рука мальчика лежала на груди, и в ней была граната. Лебедев поднял ладонь, останавливая остальных. Подросток смотрел на них с такой собранной ненавистью, что первые секунды Андрей не замечал возраста. Потом увидел тонкую шею, узкие плечи под слишком большой курткой, грязные детские пальцы, обхватившие металлический корпус. Пятнадцать. Может быть, шестнадцать. Но скорее пятнадцать.

Внутри что-то резко сдвинулось. Ещё минуту назад Андрей искал опасного стрелка, ранившего Сафонова. Теперь перед ним лежал мальчишка, который, судя по открытой винтовке, уже сделал всё, чему его учили, и оставил напоследок гранату. Это не отменяло опасности. Иногда дети держат оружие крепче взрослых.

— Komm nicht näher! — хрипло произнёс мальчик. — Не подходи ближе.

Произношение было чистым, местным. Голос сорвался на последнем слове.

— Хорошо, — ответил Андрей по-немецки. — Не подходим.

Взгляд подростка дрогнул. В нём на миг появилось нечто совсем детское — удивление, которое он тут же попытался спрятать.

— Ты говоришь по-немецки?

— Немного.

— Откуда?

— До войны учился.

Мальчик почти презрительно усмехнулся, но усмешка вышла слабой. Вероятно, ответ не укладывался в то, что ему рассказывали. Андрей прекрасно представлял, что могли говорить о русских: азиаты, варвары, безграмотная масса. Чем страшнее враг, тем легче объяснить пятнадцатилетнему, почему он обязан умереть, лишь бы не попасть к нему живым. У стены лежала книга, наполовину присыпанная штукатур-

кой. Андрей заметил знакомую фамилию на корешке, осторожно наклонился, не делая резких движений, и поднял её. Гёте. Старое домашнее издание, на полях карандашные пометки. На форзаце инициалы F. K.

— Твоя?

Подросток промолчал, но пальцы на гранате напряглись.

— Не трогай.

Вот, значит, чья. Андрей стряхнул пыль ладонью. Он не собирался устраивать представление. Просто помнил этот текст. Раскрыл книгу там, где торчала узкая полоска бумаги, и прочёл несколько строк по-немецки. Мальчик смотрел так, будто произошло что-то невозможное. В течение нескольких секунд в комнате не было ни русских, ни немцев, ни победителей, ни побеждённых. Был человек в грязной гимнастёрке, державший немецкую книгу, и подросток, которому всю жизнь объясняли, что эти две вещи не могут существовать одновременно. Андрей вдруг почувствовал усталость. Не фронтовую — ту он уже почти не замечал. Другую, накопившуюся от необходимости снова и снова доказывать, что человек перед тобой не совпадает с тем, что о нём рассказывали.

— Положи гранату, — сказал он.

Пальцы мальчика сжались.

— Нет.

— Тогда поговорим.

— Мне нечего с вами говорить.

— Значит, будешь молчать. Я поговорю.

— Зачем?

Андрей посмотрел на выбитое окно. За ним лежал город, который уже никому не удавалось защитить смертью ещё одного человека. Где-то далеко били орудия, но звук был глухим, почти привычным.

— Сколько тебе лет?

— Это не имеет значения.

— Значит, мало.

Мальчик покраснел даже под слоем пыли.

— Пятнадцать.

— Вот видишь.

— Я солдат.

— У солдата обычно есть часть, командир и задача. Где твоя часть?

Мальчик молчал.

— Где твой командир?

Снова тишина. Андрей видел, что вопрос попал куда-то глубже, чем ожидалось.

— Мне приказали держать дом.

— Кто?

— Это не ваше дело.

— Возможно. Но твой командир сейчас рядом с тобой?

Подросток отвёл глаза. Андрей не стал давить. Он слишком хорошо знал, как человек цепляется за последнюю опору именно тогда, когда чувствует, что она шатается.

— Как тебя зовут?

— Вы знаете.

Андрей посмотрел на тетрадь в своей руке.

— Маттиас Крюгер.

Мальчик вздрогнул от собственного имени сильнее, чем от слова «немец». До этого он был стрелком, противником, целью. Имя вдруг возвращало ему отдельность.

— Маттиас, — повторил Андрей. — Зачем пятнадцатилетнему мальчишке умирать в доме, который больше никому не нужен?

— Это Германия.

— Дом?

— Город.

— Город останется и после того, как ты умрёшь.

— Не вам решать.

— Согласен.

Маттиас неожиданно посмотрел прямо на него. Ответ снова оказался неправильным. Враг должен был спорить, насмехаться, доказывать превосходство. Этот русский соглашался там, где мог бы давить.

— Тогда уходите.

— Не могу. Ты держишь гранату.

— Бойтесь?

— Конечно.

Маттиас замер. Андрей услышал за спиной едва заметное движение — кто-то из своих раздражённо переступил с ноги

на ногу. Солдату не полагалось говорить врагу, что он боится. Но Андрей уже устал от того, как много людей погибло только потому, что им было стыдно назвать страх страхом.

— Я могу выдернуть чеку.

— Можешь.

— И убить вас.

— Возможно. И себя наверняка.

Маттиас стиснул зубы.

— Я не боюсь умереть.

Андрей посмотрел на его руку. Костяшки побелели.

— Я тоже так говорил в девятнадцать лет.

— И?

— Врал.

За окном осыпалась штукатурка. В соседнем квартале коротко простучал пулемёт и смолк. Маттиас не ответил. Впервые за весь день русский ждал от него не капитуляции, не признания поражения, не слова «сдаюсь», а ответа на вопрос, которого ему прежде никто не задавал всерьёз. Приказ можно выполнить или нарушить. Лозунг можно повторить громче. Но вопрос, однажды услышанный в тишине, уже не так легко вытолкнуть из головы. И Маттиас впервые почувствовал, что граната в его руке — не только оружие. Это ещё и последняя вещь, которая позволяла не отвечать. Андрей не торопил его. За годы войны он слишком часто видел, как человек, загнанный в угол, принимает чужую поспешность за доказательство собственной правоты. Позади тихо дыша-

ли бойцы. Кто-то шепнул, что проще бросить гранату в проём и закончить. Андрей не обернулся, только поднял ладонь. Он понимал их: в соседнем квартале могли погибнуть свои, стрелок уже ранил Сафонова, впереди ещё десятки домов. Никто не обязан был рисковать жизнью ради мальчишки, который сам держал гранату.

И всё же именно слово «мальчишка» не давало сделать шаг назад. Маттиас слышал шёпот и заметил движение. Старое объяснение немедленно вернулось: русские притворяются, тянут время, сейчас нападут. Оно было привычным и потому почти успокоительным. Привычная ненависть вообще часто успокаивает — в ней всё распределено заранее. Вот враг. Вот ты. Вот то, что обязан сделать. Но человек перед ним не укладывался в отведённое место.

— Что ты читал? — неожиданно спросил Маттиас, кивнув на книгу.

Андрей понял не сразу.

— В университете?

— Да.

— Немецкий язык. Литературу. Историю культуры.

Маттиас смотрел с подозрением.

— Зачем русскому немецкая литература?

— А зачем немцу Шекспир?

— Это другое.

— Почему?

Ответа не было. Маттиас почувствовал, как внутри под-

нимается раздражение. Русский снова делал то, что не должен был: не нападал на убеждение в лоб, а заставлял искать основание там, где раньше основания не требовалось.

— Вы всё украли, — сказал Маттиас. — Города. Землю. Теперь ещё и книги.

Андрей провёл пальцем по истёртому корешку.

— Книга была здесь до меня. И останется после меня.

— Это книга моего отца.

Вот теперь Андрей понял значение инициалов. Он бережно положил том на кусок уцелевшей доски, не на пол. Маттиас это заметил. Совсем маленькое движение. Ничего не доказывающее. Враг мог бережно положить книгу и всё равно через минуту убить. Маттиас сказал это себе дважды. Потом третий раз. Но необходимость повторять уже сама по себе тревожила. В руке становилось тяжело. Пальцы затекли. Стоило немного ослабить хватку — и он пугался, что это уже начало капитуляции, слабость, предательство. Он почти физически ощущал за спиной Беккера — руководителя их группы Гитлерюгенда, — школьный двор, строй, лица товарищей. Все они будто смотрели: удержит ли он последнюю границу.

А рядом с этим возникало другое лицо — матери. Не торжественное. Усталое. Она никогда не говорила, что хочет увидеть его героем. Она спрашивала, поел ли он, почему промок, зачем снова пришёл поздно. Когда он уходил на позицию, она смотрела на оружие так, будто это была вещь, ко-

торуую нельзя было впускать в дом. Маттиас прогнал воспоминание. Сейчас оно мешало умереть правильно. И именно тогда впервые мелькнула совершенно недопустимая мысль: а если всё, что мешает умереть, не обязательно является трусостью? Он так испугался этой мысли, что сильнее сжал гранату. Разговор ещё не закончился. Но что-то уже началось. Маттиас вдруг услышал за стеной детский плач. Где-то в соседнем доме, вероятно в подвале, ребёнок кричал недолго — его быстро успокоили. Но звук прошёл через комнату, как чужая память.

Его младшая сестра Лотта тоже плакала, когда боялась грозы. В восемь лет пряталась у него под одеялом, хотя днём обязательно утверждала, что ничего не боится. Маттиас тогда смеялся и чувствовал себя старшим братом — сильным просто потому, что рядом был кто-то младше. Теперь ему стало почти невозможно совместить ту роль с гранатой в руке. Если он взорвёт комнату, мать когда-нибудь узнает? Лотта? Что им скажут? «Пал героически»? «Предпочёл смерть плену»? Беккер произнесёт речь, если вообще останется жив? Маттиас представил мать с очередным официальным листком и почувствовал, как внутри поднимается сопротивление. Не страх смерти — называть это страхом он всё ещё не хотел. Злость на саму мысль, что кто-то после будет распоряжаться его смертью словами.

— Если я умру, вы напишете, что убили меня? — спросил он.

Андрей не сразу понял.

— Кто «мы»?

— Русские.

— Не знаю.

— Скажете, что я был фанатиком.

Лебедев посмотрел на мальчика внимательнее.

— Возможно, кто-нибудь скажет.

— А ты?

— Я скажу, что ты был вооружён, стрелял по нам и держал гранату.

— И всё?

— А чего ещё я знаю?

Маттиас почувствовал почти оскорбление. Ему хотелось либо ненависти, либо признания мужества. Любой законченный образ был бы лучше сухой конкретности.

— Я защищал город.

— Это ты так понимаешь.

— А ты?

— Я пока вижу мальчишку, который ранил моего товарища и сейчас может убить себя.

Маттиас вздрогнул от слова «мальчишка».

— Я солдат.

— У тебя есть военный билет?

Он замолчал.

— Звание?

Молчание.

— Часть?

— Гитлерюгенд.

Ответ прозвучал слабее, чем хотелось. Андрей не усмехнулся.

— Вот и я о том.

Впервые он ощутил не гордость за раннюю взрослость, а смутную ярость от того, что взрослые действительно оставили ему роль солдата без всего, что делает солдата частью армии: без настоящей подготовки, без ясного командования, без возможности отступить по приказу. Только оружие и требование умереть достойно. Это понимание ещё не оформилось в мысль. Но граната стала тяжелее. За дверью кто-то снова тихо предложил отойти и вызвать сапёров. Андрей услышал, как сержант ответил шёпотом: «Подождём». Это «подождём» тоже было выбором, только взрослым, не красивым и не предназначенным для плаката. Несколько человек соглашались рисковать ещё несколько минут, потому что перед ними оказался подросток.

Маттиас не знал этого. Ему казалось, что враги просто боятся приблизиться, и некоторое время эта мысль даже возвращала гордость. Он ещё способен удерживать комнату. Ещё способен заставить русских ждать. Но постепенно гордость смешалась с другим ощущением — нелепостью. Рука затекла. Во рту пересохло. Нога под балкой почти перестала чувствоваться. Всё, что называли последним героическим рубежом, в действительности свелось к грязной комнате, су-

дороге в пальцах и чужому человеку, читающему книгу отца. Он вспомнил плакат в школе: мальчик в форме стоял на фоне знамени, лицо было поднято к свету, никаких обломков, крови, страха, желания пить. Маттиас никогда раньше не замечал, что на плакатах никто не хочет в туалет, никому не больно, никто не думает о матери и не боится, что умрёт некрасиво. Реальная смерть оказалась слишком телесной для тех слов, которыми её украшали.

— Почему ты не уходишь? — спросил он.

— Потому что ты можешь убить себя.

— Тебе какое дело?

Андрей вздохнул.

— Пока не знаю.

Маттиас почти рассмеялся от злости. Даже здесь этот русский отказывался изображать благородство.

— Тогда уходи.

— Не могу.

— Почему?

— Потому что потом буду помнить, что мог остаться.

Ответ был тихим. Не про приказ. Не про Родину. Не про подвиг. Просто про то, с чем человеку потом жить. Маттиас ещё не понимал, что именно эта формула станет для него одной из самых трудных: поступок продолжается после момента, когда он совершен. Он остаётся в памяти, в теле другого человека, в собственной способности смотреть на себя. Пока же мальчик только сильнее сжал гранату и попытался

вернуть прежнюю ясность. Но ясность уже давала трещины.

Глава 2. Граната

Разговор длился, наверное, двадцать минут. Позже Маттиасу казалось, что он провёл под балкой целую ночь. Время стало вязким. Несколько слов, длинная пауза, дыхание, боль, снова слова. Пыль садилась на лицо. Нога под обломком постепенно немела, зато спина начинала гореть сильнее. В какой-то момент Маттиас заметил, что больше не слышит дальних разрывов. Не потому, что стрельба прекратилась, — просто боль забрала всё внимание. Граната оставалась в руке. Тяжёлая, надёжная, понятная. Винтовка лежала рядом, пустая. Последний патрон он выпустил, кажется, в проём лестницы и уже не знал, попал ли. Дом окружён. Уйти невозможно. Значит, оставалось сделать то, к чему их готовили в последние недели: не попасть в плен, не дать врагу взять себя живым, умереть так, чтобы смерть хоть что-то стоила.

Он много раз представлял этот момент. В воображении всё было чище. Он стоял прямо, вокруг рушились стены, враг приближался, а он сохранял спокойствие. Никто не рассказывал, что при героической смерти может ужасно чешаться нос, что во рту будет вкус крови и кирпичной пыли, что пальцы начнут неметь, а самым мучительным желанием окажется не погибнуть красиво, а просто чтобы кто-нибудь убрал балку с ноги. Эта мысль показалась позорной. Маттиас сильнее сжал гранату.

— Вы всё равно меня убьёте, — сказал он.

Лебедев сидел теперь на корточках у стены, достаточно далеко, чтобы не провоцировать его движением.

— Если бы мы хотели только убить, разговор был бы короче.

— Русские мучают пленных.

Маттиас ждал привычного отрицания. В школе их учили распознавать ложь врага: тот обязательно будет отрицать собственную жестокость, обещать безопасность, требовать доверия. Но Лебедев не сказал «нет».

— На войне люди делают много страшного, — ответил он после паузы. — И с пленными тоже. Я не могу обещать тебе, что во всём мире ни один советский солдат не сделал ничего плохого. Но сейчас перед тобой я. И я говорю: гранату положи.

— Почему я должен тебе верить?

— Не должен.

Маттиас растерялся. Это было почти оскорбительно. Вся его жизнь была построена на том, что взрослые требовали веры. Учитель, руководитель организации, голос по радио, человек на трибуне, плакат, газета. Даже отец, который спорил со многим, оставался отцом — ему верили потому, что он отец. В мире существовали люди, имеющие право говорить, и люди, обязанные слушать. А этот русский словно отказывался занять положенное место.

— Тогда зачем говоришь?

— Чтобы у тебя был выбор.

Маттиас коротко рассмеялся. Смех отдал болью в спине.

— Выбора нет.

— Кто сказал?

— Германия не сдаётся.

— Я спросил не о Германии. Кто сказал, что именно ты обязан умереть сегодня?

— Все.

— «Все» — удобный человек. С него потом ничего не спросишь.

Фраза разозлила сильнее насмешки.

— Фюрер знает, что делает.

— Ты ещё веришь, что Германия победит?

— Да.

Слово прозвучало тише, чем Маттиас хотел. Он услышал это и почувствовал прилив стыда. Ещё месяц назад сказал бы без колебаний. Ещё неделю назад. Но вокруг уже несколько дней отступали взрослые, сжигали бумаги, снимали знаки различия, исчезали ночью. Радио продолжало говорить о стойкости, а улицы говорили другое. Маттиас заставил себя поднять подбородок.

— Победа может выглядеть по-разному.

— Может, — согласился Андрей.

— Вы думаете, мы проиграли?

— Думаю.

— И радуетесь?

Андрей не ответил сразу.

— Тому, что война заканчивается, — да.

— А Германии?

— Что Германии?

— Что её уничтожили.

— Я не вижу уничтоженной Германии. Вижу разрушенный город.

— Это одно и то же.

— Нет.

Впервые в голосе русского появилась твёрдость. Маттиас почувствовал странное раздражение: почему враг отказывается ненавидеть Германию так, как положено? Было бы гораздо проще, если бы Лебедев сказал: да, мы пришли вас уничтожить. Тогда всё вставало на место. Граната снова получала смысл.

— Тебе пятнадцать? — спросил Андрей.

— Да.

— Мать есть?

Маттиас молчал.

— Сестра?

Он резко поднял взгляд.

— Откуда ты знаешь?

— Не знаю. Угадал.

Перед глазами сразу появилась Лотта. Растрёпанные косички, веснушки, привычка читать его книги без спроса. Последний раз он видел её в подвале, когда мать почти силой

заставила его спуститься перед обстрелом. Лотта тогда спросила, правда ли он будет воевать, и Маттиас ответил что-то торжественное. Он уже не помнил что. Помнил только её лицо: она смотрела не с гордостью, а со страхом. Мать стояла рядом и молчала. Почему молчала? Он раньше считал это согласием. Теперь впервые подумал: может быть, она просто боялась сказать то, что не могла изменить.

— Отец погиб за Германию, — произнёс Маттиас.

Сам не понял, зачем. Фраза давно служила универсальным ответом. Если разговор заходил слишком далеко, всегда можно было поставить перед собеседником отцовскую смерть.

— Где? — спросил Лебедев.

— На Востоке.

Андрей отвёл взгляд. Маттиас заметил это.

— Значит, и я должен.

— Почему?

— Потому что иначе его смерть...

Он оборвал фразу. Договорить оказалось страшнее, чем держать гранату. Если отец погиб за ошибку? Если война была не защитой? Если его послали туда люди, которые сегодня требуют того же от сына? Тогда что оставалось от слов «пал смертью храбрых»? Неужели только человек, которому было холодно, который писал домой и хотел вернуться, а потом погиб далеко от реки, дома и школьного кабинета? Нет. Маттиас почти физически почувствовал внутреннее сопро-

тивление. Так нельзя. Отец не мог умереть напрасно. Если признать это, исчезнет не только война. Исчезнет сам отец — тот образ, который Маттиас строил два года, чтобы не чувствовать бессилия.

— Его смерть не зависит от того, что ты сделаешь сейчас,
— тихо сказал Андрей.

— Вам легко говорить.

— Нет.

— Почему?

Андрей долго смотрел на пол.

— Моя мать умерла из-за немцев.

Маттиас поднял голову.

— Тогда ты должен меня ненавидеть.

— Иногда ненавижу.

Ответ оказался страшнее любой правильной доброты. Маттиас ожидал: «Нет, я понимаю, что ты ребёнок». Тогда можно было бы презирать русского за слабость или не верить ему. Но Лебедев признал ненависть — и всё равно сидел, не стреляя.

— И сестра, — добавил Андрей. — Ей было одиннадцать.

— Где?

— Ленинград.

Маттиас знал это название. Знал карты, сводки, рассказы о городе, который следовало взять измором, потому что штурм потребовал бы слишком много сил. Военные слова были аккуратными. «Блокада». «Крепость». «Военная необ-

ходимость». В них не было одиннадцатилетней девочки. Он почувствовал желание защищаться.

— Я там не был.

— Знаю.

— И отец, может быть...

— Я ничего не знаю о твоём отце.

— Тогда зачем сказал?

— Ты спросил, почему не убиваю.

— И почему?

Андрей потер лицо ладонью. Он выглядел вдруг старше своих лет.

— Потому что если убью пятнадцатилетнего мальчишку только за то, что немцы убили моих близких, потом придётся объяснять себе, чем я лучше тех, кого ненавижу.

Маттиас хотел ответить: вы всё равно убиваете немцев. Но понял разницу прежде, чем сформулировал возражение. На улице шёл бой. Там люди стреляли друг в друга, потому что были вооружены. Здесь он уже не мог двигаться и держал гранату только потому, что боялся остаться живым. Он возненавидел это различие. Оно лишало его красивого выхода.

— Положи гранату, — сказал Андрей.

— Я не сдаюсь.

— Хорошо. Не называй это сдачей.

— А чем?

— Решением не умереть сегодня.

Маттиас посмотрел на металл в ладони. Его учили, что

мужество — это сжать руку, когда страшно. Не отступить. Не показать слабость. Умереть раньше, чем попросить пощады. Все примеры мужества были направлены в одну сторону — к преодолению страха смерти. Никто не говорил о страхе жизни. А он вдруг понял, что боится именно её. Если выживет, придётся увидеть мать. Ответить Лотте. Узнать, что произошло с товарищами. Жить с тем, что стрелял. Услышать, что Германия проиграла. Возможно — узнать, что отец верил не во всё, во что заставлял себя верить сын. Смерть была проще. Она навсегда оставляла Маттиаса правым. Жизнь могла доказать обратное.

— Я не трус, — прошептал он.

— Я не говорил.

— Вы все так думаете.

— Я думаю, ты ранен и напуган.

— Я не напуган.

Андрей посмотрел прямо на него.

— Тогда зачем держишь гранату?

Маттиас открыл рот и не нашёл ответа. Тело уже не слушалось. Пальцы дрожали. Он почувствовал, что плачет, и это вызвало такую ярость, что на секунду действительно захотелось рвануть чеку — хотя бы чтобы никто не увидел слёз. Андрей ничего не сказал. Не отвёл взгляд и не приблизился. Просто ждал. Через несколько секунд Маттиас понял: никто больше не решит за него. Ни Беккер. Ни отец. Ни фюрер. Ни этот русский. Если он умрёт сейчас, это уже будет

не приказ. Это будет его собственный выбор. И именно поэтому сделать его оказалось невозможно. Пальцы разжались. Граната упала на пол с негромким металлическим стуком. Все застыли.

— Я не сдаюсь, — повторил Маттиас почти шёпотом.

— Я слышал.

Лебедев медленно подошёл и отодвинул гранату ботинком. Только после этого Маттиас понял, как сильно устал. Всё напряжение, державшее его последние часы, исчезло. Боль вернулась сразу — тяжёлая, горячая, безжалостная. Он попытался приподняться и не смог. Андрей оказался рядом.

— Санитара сюда!

Маттиас хотел оттолкнуть его, но рука поднялась всего на несколько сантиметров.

— Не трогай...

— Поздно.

В другой ситуации фраза могла бы прозвучать насмешкой. Сейчас в ней была только усталость. Комната поплыла. Маттиас успел увидеть Гёте на полу, затем лицо Лебедева и ещё подумал, что оставил книгу врагу. Последней мыслью было не облегчение и даже не страх. Простое детское удивление: он всё ещё жив. Когда санитар и двое бойцов освобождали его из-под балки, Маттиас несколько раз приходил в сознание и снова проваливался в темноту. Каждый раз мир возвращался кусками: чужая рука под плечом, резкая боль в пояснице, немецкое ругательство, произнесённое русским

с ужасным акцентом, запах крови и известковой пыли. Он ждал удара. Никто не бил. Ждал, что оружие приложат к затылку, когда вынесут из комнаты. Вместо этого кто-то раздражённо сказал, чтобы носилки держали ровнее.

На лестнице Маттиас открыл глаза. Над ним проплывала обгоревшая стена, потом кусок вечернего неба. Он вдруг понял, что его несут вниз тем самым путём, по которому несколько часов назад он перебегал с винтовкой. На площадке лежали гильзы. Его гильзы. От этой мысли стало дурно. Где-то здесь он стрелял в людей, которые теперь несли его. Он попытался спросить о раненом русском — о том, которого видел у столба, — но губы плохо слушались. Получилось только хриплое слово.

— Что? — наклонился Лебедев.

Маттиас закрыл глаза. Спрашивать значило признать, что ему не всё равно. На улице его ударил холодный воздух. Над домами висел дым, но небо уже темнело спокойно, почти повесенному. Маттиас ожидал увидеть разграбленный город, обезумевших солдат, то, чем пугали на занятиях. Увидел санитарную машину, бойцов, женщину с белой повязкой на рукаве, старика у стены. Обычные детали раздражали сильнее ужасов. Ужасы подтвердили бы всё. Перед тем как его положили в машину, Лебедев наклонился.

— Книгу я заберу. Потом верну.

Маттиас открыл глаза.

— Не трогай её.

— Тогда придётся оставить под обломками.

— Это отца.

— Я понял.

— Ты не имеешь права.

Андрей помолчал.

— Возможно. Но пока сохраню.

Маттиас хотел возразить, однако машина дёрнулась. Боль вытеснила слова. В забытии ему снова виделся отец. Не погибший солдат с фотографии, а живой человек в домашней рубашке, который однажды рассердился, потому что Маттиас вырвал страницу из книги. «Чужая мысль не становится твоей собственностью только потому, что ты держишь бумагу», — сказал тогда отец. Теперь книгу держал русский. Маттиасу казалось это последним унижением. И одновременно почему-то успокаивало: если книга существует, если её можно вернуть, значит, существует какое-то «потом». Он не хотел думать о потом. Мальчика, которого учили умирать, никто не учил, что делать на следующий день после того, как он выбрал жизнь.

Когда Маттиас на мгновение пришёл в себя уже на перевязочном столе, вокруг говорили быстро и по-русски. Чужая речь сливалась для него в сплошной поток: он не понимал ни слова. Кто-то разрезал штанину. Холодный металл коснулся кожи. Он дёрнулся.

— Ruhig, ruhig, — сказал незнакомый голос с акцентом. Спокойно.

Маттиас хотел выругаться: не приказывайте мне быть спокойным. Но сил не было. Потом пришла боль — яркая, почти белая. Он закричал. Настолько громко, что сам услышал в голосе ребёнка и испытал мгновенный стыд.

— Ничего, — сказал Лебедев где-то рядом по-немецки.
— Кричи.

Эти два слова разозлили больше боли.

— Не буду.

— Уже.

Маттиас попытался улыбнуться, но получилось плохо. Позже этот эпизод будет вспоминаться ему как первый момент, когда кто-то разрешил не соответствовать образу. Не «будь мужчиной», не «терпи», не «немецкий юноша не плачет». Просто кричи, если больно. Тогда он ещё не мог оценить это. Он только боялся, что русские запомнят его крик. Перед тем как снова провалиться в наркоз, он спросил:

— Тот солдат... у столба...

Лебедев наклонился.

— Сафонов?

Имя впервые сделало раненого человеком.

— Жив?

— Жив.

Маттиас закрыл глаза. Облегчение пришло прежде, чем он успел запретить его себе. И от этого стало страшно. Если ему приятно, что враг выжил, значит ли это, что он уже предаёт тех, кто погиб с немецкой стороны? Логика была дет-

ской, но сильной. Его учили, что сочувствие распределяется по принадлежности: своим — боль, чужим — максимум презрение. Теперь сочувствие нарушило границу само, без разрешения. Маттиас уснул с этим нарушением. В санитарной машине было темно. Рядом кто-то тяжело стонал, и Маттиас сначала решил, что это русский. Потом услышал немецкое «мама» и понял, что раненый лежит совсем близко, возможно, в такой же форме, как он. Он попытался повернуть голову, но ремни удерживали плечи.

— Где мы? — спросил по-немецки.

Никто не ответил. Машина тряхнула на воронке. Боль прошила спину. Маттиас закусил губу, чтобы не закричать. С детства его учили переносить боль молча. В лагере мальчики смеялись над тем, кто первым просил остановиться в походе. Беккер говорил, что тело должно подчиняться воле. Теперь тело не подчинялось. И это оказалось не моральным недостатком, а просто фактом. Маттиас впервые почувствовал слабое, почти стыдное сочувствие к самому себе. Не жалость — такую он бы презирал. Скорее удивление: почему он вообще требовал от пятнадцатилетнего тела вести себя так, словно оно обязано соответствовать чужой легенде? Когда машина остановилась, дверь распахнули. Свет ударил в глаза. Кто-то спросил о возрасте. Лебедев ответил: пятнадцать. Маттиас хотел крикнуть, что возраст ничего не значит. Он солдат. Он сражался. Он отвечал за позицию. Но не произнёс. Слово «пятнадцать» неожиданно прозвучало не

как оскорбление, а как число, которое объясняло слишком многое.

Его понесли внутрь. Перед тем как снова потерять сознание, он заметил, что Лебедев идёт рядом и держит под мышкой том Гёте. Отец, возможно, рассердился бы на пыль на обложке. Эта нелепая мысль оказалась последней.

Глава 3. Пленный

Маттиас очнулся в школьном классе. Он понял это по доске. Под серыми разводами ещё проступали остатки немецких слов, рядом кто-то мелом рисовал схему спряжения глагола, а над дверью висел металлический крючок, где прежде, вероятно, была табличка с номером класса. Теперь вдоль стен стояли койки, на учительском столе лежали бинты и инструменты, а вместо школьного запаха мела и мокрых пальцев воздух был пропитан карболкой, кровью, дымом и влажной шерстью. Первая мысль пришла мгновенно: плен. Вторая — ноги. Он попытался пошевелиться. Правая стопа откликнулась, левая — едва. Маттиас замер и попробовал снова. Пальцы двинулись. Колено — нет. Он почувствовал панику, настолько сильную, что на несколько секунд забыл и о русских, и о Германии. Умереть было просто. Один жест, вспышка, конец. Жить человеком, который больше не ходит, он не представлял. Он дёрнулся сильнее. Боль прошла от поясницы к боку, в глазах потемнело.

— Лежать!

Голос был женский. К койке подошла женщина в военной форме. Светлые волосы убраны под косынку, рукава закатаны, кожа на кистях красная от холодной воды. Маттиас сразу напрягся. Женщина осмотрела повязку, что-то сказала другому санитару по-русски — смысла он не понял, — затем показала кружку.

— Wasser?

Акцент был такой сильный, что слово прозвучало почти смешно. Маттиас отвернулся. Он не будет брать у русских воду. Эта мысль дала неожиданное облегчение: пока можно отказаться, он ещё сохраняет власть хотя бы над чем-то. Женщина не стала уговаривать. Пожала плечами, поставила кружку на табурет и ушла к другому раненому.

Через десять минут Маттиас выпил всё до последней капли. Сделал это украдкой, хотя прекрасно понимал, что никто за ним не наблюдает. Вода была тёплой и пахла металлом. Он никогда не пил ничего вкуснее. Потом пришёл стыд. Не за жажду. За то, что ожидал от русского воды с ядом, издеательства, требования благодарить. Ничего не произошло. Женщина даже не заметила пустую кружку, пока снова не подошла менять повязку.

— Ещё? — спросила она, показывая на воду.

Маттиас после короткой борьбы кивнул. Это было второе поражение за день. Лебедев появился ближе к вечеру. Сел на край подоконника, словно в классе остались после уроков двое учеников, а не советский солдат и немецкий пленный.

— Ты жив.

— Вижу.

— Уже неплохо.

— Для кого?

Андрей вздохнул.

— Начинается.

Маттиас ненавидел его спокойную манеру. Он хотел увидеть победителя: самодовольного, жестокого, торжествующего. Хотел получить доказательство того, что всё рассказывали правильно. Но Лебедев выглядел только уставшим. Под глазами синеватые тени, гимнастёрка грязная, рука перевязана у запястья. Он не походил на человека, которому достался прекрасный новый мир. Скорее на человека, который слишком долго шёл и пока не знает, можно ли остановиться.

— Где я?

— В перевязочном пункте. Бывшая школа. Врач осмотрел тебя.

Он ощутил, как сердце ускоряется.

— Ноги?

— Позвоночник не перебит. Осколок и сильный ушиб. Отёк давит на нервы. Доктор говорит, шанс ходить нормально хороший.

Маттиас не сразу понял смысл слов.

— Хороший?

— Это значит больше половины, если тебе нужны точные цифры.

— Он немецкий врач?

— Советский.

Маттиас замолчал.

— Вы лечите меня?

— Как видишь.

— Зачем?

Андрей посмотрел на соседние койки. Там лежали советские раненые, двое немецких солдат, пожилой гражданский с забинтованной головой. Один русский спал, тихо постанывая. Другой сидел и пытался есть кашу левой рукой, потому что правая была привязана к груди.

— Потому что ты ранен.

— Я враг.

— Раненый сначала раненый. Враг потом.

Маттиас решил, что это красивая фраза для допроса. Возможно, так учили работать с пленными: показать доброту, разрушить волю, заставить говорить. Он стал наблюдать. В течение нескольких часов никто не задавал ему вопросов о позиции, товарищах или приказах. Женщина с косынкой — Андрей назвал её Анной — меняла повязки одинаково у русских и немцев. Когда пожилой немец попросил воды, она принесла. Когда советский раненый ругался из-за боли, прикрикнула на него точно так же, как на Маттиаса, когда тот пытался подняться. Особенно раздражало отсутствие торжественности. Он ожидал, что победители будут наслаждаться его беспомощностью. Они были слишком заняты. Солдат

напротив, тот самый с перевязанным виском, заметил, что Маттиас смотрит на хлеб. Отломил половину и протянул. Маттиас отвернулся.

Через минуту хлеб всё ещё лежал на краю его койки.

— Он знает, кто я? — спросил он у Андрея.

— Конечно.

— Тогда зачем?

— Возможно, просто делится хлебом.

Слово «возможно» снова вызвало раздражение. В прежнем мире всё имело одну причину. Русский поступает так, потому что он русский. Немец — потому что немец. Герой — потому что смелый. Трус — потому что слабый. Еврей — потому что... Маттиас остановил мысль. Он никогда прежде не замечал, насколько удобно, когда любой человек объясняется одним словом. «Возможно» размывало границы. Оно оставляло слишком много воздуха. Под вечер Маттиас всё-таки съел хлеб. Не из благодарности, говорил он себе. Из голода.

Ночью он почти не спал. Болела спина. Кто-то кричал во сне. За окнами проезжали машины, иногда слышалась стрельба. Маттиас лежал и думал о гранате. Не о том, что едва не умер. О том, что сам отпустил её. Это беспокоило больше. Если бы Лебедев выбил гранату, если бы Маттиас потерял сознание раньше, можно было бы сказать: не дали выполнить долг. Но он разжал пальцы сам. Почему? Страх? Значит, трусость? Или русскому удалось обмануть? Эта вер-

сия была приятнее. Маттиас почти убедил себя, что попался на психологическую хитрость. Потом вспомнил, что Лебедев несколько раз говорил: не верь мне. Обманщик, который просит не верить, был неудобен.

Утром врач проверял чувствительность ног. Колот иглой стопу и спрашивал через Андрея, чувствует ли.

— Здесь?

— Да.

— Здесь?

— Слабее.

— А здесь?

Маттиас дёрнул ногой. Врач удовлетворённо хмыкнул.

— Хорошо.

— Он что сказал?

— Что ты будешь жить всем назло.

Доктор резко произнёс несколько слов по-русски.

По тону врача и слишком лёгкой усмешке Лебедева Маттиас понял только одно: тот перевёл слишком вольно.

— Почти, — признал Андрей.

— Тогда переводит точно.

Андрей посмотрел с удивлением.

— Уже командуешь переводчиком?

— Я хочу знать.

Лебедев улыбнулся.

— Сказал: «Молодой организм, восстановится». Всё.

Маттиас кивнул. Почему-то точный, скучный перевод по-

навился больше красивой фразы. Позднее Андрей сидел у окна с книгой. Маттиас долго наблюдал, потом не выдержал:

— Ты правда учился в университете?

— Правда.

— Где?

— В Ленинграде.

Это название теперь звучало иначе.

— На кого?

— Немецкий язык, литература. Немного истории. Хотел преподавать.

— Русский изучает немецкую литературу.

— Бывает.

— После того, что Германия сделала вашей стране, ты будешь читать Гёте?

Андрей закрыл книгу.

— Гёте не вторгался в Советский Союз.

Фраза была почти смешной. Маттиас хотел возразить: культура принадлежит народу, народ — государству, государство ведёт войну. Но внезапно увидел, насколько много ступеней приходится перескочить, чтобы сделать поэта виновным в наступлении армии.

— Но он немец.

— Ты тоже.

Маттиас напрягся.

— И что?

— Вот именно.

Андрей снова открыл книгу. Маттиас несколько минут молчал.

— А Толстого ты читал? — спросил Андрей.

— Нет.

— Жаль.

— Почему?

— Он русский. Вдруг окажется человеком.

Маттиас хотел обидеться, но неожиданно улыбнулся. Со всем чуть-чуть. Сразу спрятал улыбку. Анна подошла менять повязку. Работала быстро, без лишних слов. Маттиас смотрел на её руки и думал, что она могла быть медсестрой где-нибудь дома, иметь мужа, детей, ненавидеть немцев. Ничего этого он не знал. Когда она закончила, он несколько секунд боролся с собой.

— Danke, — тихо сказал Маттиас по-немецки.

Анна остановилась, удивлённо подняла брови.

— Bitte, — ответила Анна с сильным акцентом.

И ушла. Маттиас почти разозлился на себя: благодарность прозвучала слишком просто, будто между ними не было фронта, плена и всего того, чему его учили. Потом понял — именно поэтому и было важно. Одно короткое Danke ничего не меняло. Он оставался пленным. Город был взят. Война была почти проиграна. Его отец оставался мёртв. Советский солдат напротив оставался человеком, по которому Маттиас ещё два дня назад мог бы выстрелить. Но мир впервые начал делиться не на «своих» и «чужих», а на отдельных людей,

способных поступать не так, как обещала пропаганда. Это было лишь первое сомнение. И Маттиас ещё не подозревал, сколько сил потратит, пытаясь от него избавиться.

Ночью госпиталь становился другим. Днём пространство заполняли шаги, приказы, звон металла, запах еды, голоса санитаров. Ночью оставались кашель, стоны и шорох простыней. Маттиас лежал с открытыми глазами и пытался по звукам определить, кто вокруг него — русские или немцы. Через некоторое время понял, что это бесполезно. Боль звучала одинаково. Слева тяжело дышал советский солдат с перевязанной грудью. Через две койки лежал пожилой немец, которого привезли вечером. Один что-то бормотал во сне по-русски, другой по-немецки. Слов Маттиас не понимал, но в обоих голосах слышалась одинаковая беспомощная, почти детская интонация. От этой нелепой симметрии стало не по себе. Он повернулся к стене.

Ему хотелось ненавидеть всё вокруг. Ненависть возвращала привычный порядок. Но теперь она постоянно наталкивалась на конкретные лица. Анна. Лебедев. Солдат, поделившийся хлебом. Санитар, который осторожно перевернул его, предупреждая о боли жестами, потому что не знал немецкого. Маттиас пытался напоминать себе: отдельные поступки ничего не доказывают. Русские всё равно враги. Они пришли в Германию с оружием. Потом неизбежно возникал другой вопрос: а отец пришёл на Восток без оружия? От этого вопроса он резко открыл глаза. Нельзя. Не сейчас. Он попробо-

вал сосредоточиться на ногах. Правая стопа слушалась чуть лучше. Левая отзывалась слабым покалыванием. Врач сказал через переводчика, что это хороший признак, но гарантий нет.

Маттиас впервые по-настоящему испугался будущего. С гранатой всё было просто: секунды. Теперь будущее растягивалось на месяцы. Сможет ли ходить? Вернётся ли мать? Где Лотта? Что будет с ним как с пленным? Что скажут соседи, если узнают, что он сдался? Хотя он ведь не сдавался. Он просто... Он не мог закончить фразу. На соседней койке русский проснулся и попросил воды. Медсестры рядом не было. Кружка стояла на тумбочке между койками, ближе к Маттиасу. Он смотрел на неё долго. Потом протянул руку. Спина отозвалась болью. Он едва достал кружку и подвинул к краю. Русский что-то сказал. Наверное, поблагодарил. Маттиас не понял. И вдруг ощутил раздражение на самого себя: этот жест ничего не значил, но он уже боялся, что если сделает слишком много таких жестов, назад к прежнему миру будет труднее возвращаться.

Утром он снова был холоден с Лебедевым. Ночью, однако, впервые помог врагу напиться. И никто, кроме него, этого не заметил. На третий день врач заставил его сесть. Двое санитаров поддерживали за плечи. Мир сразу поплыл, в ушах зашумело, но Маттиас упрямо не попросил лечь обратно.

— Хватит, — сказал врач по-немецки хуже Анны.

— Могу ещё.

— Зачем?

Маттиас не понял вопроса. Врач повторил медленнее:

— Зачем ещё? Чтобы доказать что?

Маттиас почти ответил: что не слабый. Но внезапно услышал эту фразу со стороны. Кому он доказывает? Русскому врачу? Себе? Беккеру, которого здесь нет? Он позволил уложить себя. От этого не произошло ничего. Никто не назвал трусом. Не исчезла Германия. Не рухнул потолок. Так обнаруживалось странное свойство новой жизни: некоторые запреты существовали только внутри него.

Позже он слышал спор двух советских солдат. Слов почти не понимал, но тон был обычным — один сердился, другой смеялся. Маттиас смотрел и пытался совместить услышанное с образом безликой орды. Не получалось. Безликая орда не спорит из-за сапог, не ругает кашу, не рассказывает анекдоты санитарке. Он злился на детали за то, что они разрушали удобное обобщение.

Вечером спросил у Лебедева:

— У вас все читают немецкие книги?

— Нет.

— Значит, ты исключение.

— В чём?

— В образованности.

Андрей усмехнулся.

— Очень приятно.

— Я серьёзно.

— А я нет. У нас есть умные, глупые, образованные, неграмотные. Как у вас.

— У нас не так.

Маттиас произнёс это автоматически и сразу пожалел.

— Конечно, — сказал Андрей. — Немецкие глупцы глупее организованно.

Маттиас фыркнул. Потом, вопреки себе, рассмеялся. Смех отозвался болью в спине. Он перестал сразу. Но несколько секунд до боли были почти обычными. И это испугало: обычность возвращалась слишком быстро, будто война не имела права закончиться для него раньше, чем он понесёт какое-то наказание. Перед сном он вспомнил собственное тихое Danke. Ещё вчера благодарить врага казалось невозможным. Сегодня невозможность уже случилась — и мир не рухнул. Маттиас понял только одно: перемены начинаются не с больших убеждений. Иногда они начинаются с маленького поступка, который человек ещё не умеет объяснить и потому особенно хочет забыть.

Глава 4. Вопрос

На первый официальный допрос Маттиаса привезли через три дня. Это было 30 апреля, хотя он не придавал дате значения. В госпитале дни различались по смене повязок, боли и тому, сколько раз удавалось пошевелить левой ногой. Война за стенами продолжалась. Иногда слышались орудия, иногда на несколько часов наступала тишина, и тогда стано-

вилось особенно тревожно. Маттиас ожидал подвала. Ожидал яркой лампы в лицо, крика, удара, угроз. Ему рассказывали о советских комиссарах, о пытках, о том, что пленных заставляют признавать невозможное. По дороге он пытался подготовиться: назвать имя, возраст, номер организации — и дальше молчать. Комната бывшей городской канцелярии разрушила подготовку уже первым видом. Голый стол, два стула, карта на стене, открытое окно. На подоконнике стояла кружка с остывшим чаем. Капитан Орлов оказался спокойным человеком лет сорока с тяжёлыми веками и совершенно невыразительным лицом. Не изображал ни доброту, ни жестокость. Просто записывал.

Лебедев сидел сбоку и переводил.

— Имя?

— Маттиас Крюгер.

— Год рождения?

Маттиас назвал.

— Возраст?

— Пятнадцать.

Орлов поднял глаза, будто хотел убедиться, что правильно услышал.

— Организация?

Маттиас помедлил.

— Гитлерюгенд.

— Когда вступили?

Он ответил. Вопросы шли один за другим. Не обвинитель-

ные — уточняющие. Где проходили занятия. Кто руководил. Какие виды подготовки. Когда впервые стрелял. Кто выдавал оружие весной. Маттиас постепенно расслаблялся и именно это пугало. Сначала строевая подготовка, походы, спортивные соревнования. Потом пневматические и малокалиберные винтовки, ориентирование, связь, метание учебных гранат. Настоящее боевое оружие появилось позже. В последние месяцы — фаустпатроны и занятия по борьбе с танками.

— Фаустпатрон вам показывали в пятнадцать лет? — переспросил Орлов.

— Да.

— Кто?

Маттиас назвал фамилию Беккера. Капитан записал.

— Хорошо.

Это «хорошо» показалось почти оскорбительным.

— Что хорошего?

Лебедев перевёл. Орлов посмотрел на него.

— В том, что вы отвечаете точно. Не в том, что подростка учили уничтожать танк.

Маттиас замолчал. Он ждал ловушек, но капитан слишком часто отделял факт от оценки. Это выбивало почву из под привычной защиты.

— Почему вы воевали? — спросил Орлов наконец.

Ответ был готов давно.

— Защищали Германию от большевизма.

— Германия только защищалась?

— Да.

— Всю войну?

— Да.

Орлов посмотрел в записи.

— Ваш отец где погиб?

Маттиас напрягся.

— На Востоке.

— В Советском Союзе?

— Да.

— Тогда что он там защищал?

Маттиас почувствовал холод в груди.

— Это была превентивная война.

— От чего именно?

— Советский Союз готовился напасть.

— Откуда вы знаете?

— Это известно.

— Когда Германия напала на Советский Союз, вам было одиннадцать?

— Да.

— Значит, военные планы Советского Союза вам не показывали.

Маттиас вспыхнул.

— Я читал.

— Что?

Он попытался вспомнить. Газетные статьи. Брошюры. Речи. Ни одного документа. Орлов не настаивал.

— Польша?

Маттиас молчал.

— Норвегия? Бельгия? Нидерланды?

— Я не знаю подробностей.

Капитан неожиданно кивнул.

— Хорошо. Тогда не будем требовать ответа, которого вы не знаете.

Фраза подействовала сильнее давления. Маттиас привык, что отсутствие ответа — слабость. На собрании, в школе, на занятиях надо было говорить уверенно, даже если не знаешь. Сомнение означало недостаток убеждённости. Здесь взрослый офицер позволил ему не знать — и этим будто отнял возможность прикрываться готовой формулой. Орлов перевернул лист.

— Вы считаете себя солдатом?

— Да.

— Звание?

— Нет звания.

— Военская часть?

Маттиас молчал.

— Командир?

— Беккер руководил нами.

— Он военнослужащий?

— Не знаю.

— Тогда снова: почему вы считаете себя солдатом?

— Я сражался.

— Это описание действия. Я спрашиваю, кто сделал вас солдатом.

Он ощутил злость.

— Я не ребёнок.

Орлов отложил карандаш.

— Сколько лет?

— Я уже сказал.

— Пятнадцать.

— И что?

— То, что выдача винтовки не прибавляет человеку возраста.

Маттиас сжал кулаки.

— Я сам согласился.

— Это важно.

Он ожидал насмешки, но Орлов продолжил спокойно:

— Вы отвечаете за то, что делали. Но взрослые отвечают за то, что поставили вас туда, где вам пришлось это делать. Одно не отменяет другого.

Маттиас растерялся. Ему казалось, есть только два варианта: либо он герой, сознательно принявший долг, либо ребёнок, которого вообще нельзя считать ответственным. Орлов предлагал третье — неприятное и сложное. Маттиас мог быть одновременно подростком, которого использовали, и человеком, который всё-таки нажимал на спуск. Это не давало спрятаться ни за возрастом, ни за героизмом.

— Если взрослые мужчины защищали страну, — продол-

жил Орлов, — зачем понадобился пятнадцатилетний мальчик?

— Потому что война.

— Это не ответ.

— Все должны защищать Родину.

— И дети?

— Я не ребёнок.

Орлов устало выдохнул.

— Хорошо. Когда вам было десять, вы были ребёнком?

— Да.

— В двенадцать?

Маттиас помедлил.

— Наверное.

— В четырнадцать?

Он понял, куда ведёт вопрос, и замолчал. Капитан не улыбнулся.

— Вот поэтому я спрашиваю не о слове, а о границе. Кто её провёл? Вы сами? Беккер? Государство, которому не хватило взрослых солдат?

Маттиас почувствовал, как лицо горит.

— Вы хотите, чтобы я сказал, что меня заставили.

— Нет.

— Но именно это вы доказываете.

— Я ничего вам не доказываю. Я записываю, что произошло.

— Тогда зачем вопросы?

Орлов посмотрел на него долго, почти с любопытством.

— Потому что факты без вопросов часто становятся удобными.

Маттиас перевёл взгляд на Лебедева. Тот молчал. Допрос закончился без признаний, угроз и требований покаяться. Никто не заставил Маттиаса сказать, что Германия виновна. Никто не потребовал назвать себя преступником. Ему даже позволили исправить одну фамилию в протоколе. Именно это беспокоило сильнее всего. На обратном пути он догнал Лебедева в коридоре.

— Ты говорил, что твоя мать умерла из-за немцев.

— Да.

— Где?

— В Ленинграде. От голода.

— Сестра тоже?

— Да. Ей было одиннадцать.

Маттиас остановился. Он слышал о Ленинграде. Карты, сводки, военные комментарии. Город окружён. Снабжение нарушено. Сопротивление продолжается. Всё было описано языком, в котором голод существовал как средство давления на гарнизон.

— Там были военные, — сказал он.

— Были.

— Значит, город был целью.

— Был.

Ответ снова оказался неудобным. Маттиас ждал, что Ан-

дрей скажет: нет, это были только женщины и дети. Тогда можно было бы возразить. Но Лебедев соглашался с очевидным и оставлял рядом другую очевидность.

— И гражданские тоже были, — добавил он.

Маттиас опустил взгляд.

— Ты рассказываешь это, чтобы я чувствовал себя виноватым?

— Ты спросил.

— Но я немец.

— Это факт рождения. Не приговор.

— А если мой отец был там?

— Тогда надо узнать, что делал твой отец.

— А если делал плохое?

Лебедев помолчал.

— Тогда это будет правдой о твоём отце. Не о тебе.

Он ощутил почти физическую боль.

— Ты легко говоришь.

— Нет.

Андрей посмотрел в окно. Двор был забит машинами, носилками, людьми.

— Очень нелегко.

Они дошли до двери.

— И ещё, — сказал Андрей. — Не верь мне только потому, что я говорю уверенно.

Маттиас нахмурился.

— Почему?

— Потому что уверенность не делает человека правым.

— Тогда кому верить?

— Фактам. Свидетельствам. Нескольким источникам.

Иногда себе, но осторожно.

— Это невозможно.

— Да.

— Что «да»?

— Невозможно жить, ни разу не ошибившись.

Маттиас смотрел на него, не понимая, почему эта мысль звучит почти как освобождение и одновременно как угроза.

— Смотри сам, — продолжил Андрей. — Сравнивай. Проверяй. Решай.

— А если решу, что ты лжёшь?

— Значит, решишь.

Лебедев ушёл. Маттиас долго стоял в коридоре на костылях, пока санитар не велел двигаться. Его всю жизнь учили искать человека, которому можно доверить правильный ответ. Впервые взрослый отказался от этого права. И Маттиас ещё не знал, что свобода думать самому сперва ощущается не как свобода, а как потеря опоры. Вернувшись после допроса, Маттиас был зол почти до дрожи. Он ожидал унижения, угроз, попытки заставить его отказаться от Германии. Вместо этого получил несколько вопросов, которые продолжали звучать уже без Орлова. Почему отец оказался в Советском Союзе? Почему пятнадцатилетнему выдали оружие? Почему война, начатая далеко от немецких границ, на-

зывалась защитой? Он лёг, отвернувшись к стене, и стал подбирать ответы. Не для русских — для себя.

Польша угрожала Германии. Союзники окружали. Большевизм собирался напасть. Превентивная война. Европу спасали от коммунизма. Так говорили учителя и радио. Маттиас перебирал формулировки, словно листал учебник. Проблема заключалась в том, что теперь каждая фраза требовала следующего вопроса. Кто сказал? Откуда известно? Когда? Какие документы? Лебедев словно испортил привычный язык. Раньше утверждение заканчивало разговор. Теперь оно только начинало его. Маттиас ненавидел это состояние. Голова болела сильнее спины. Ему хотелось вернуть уверенность хотя бы на час. Он позвал Анну и попросил бумагу. Написал сверху: «Почему Германия была права». Первая строка далась легко. «Мы защищали Европу от большевизма». Под ней, почти против воли, появилась другая: «Кто решил, что для этого надо войти в Советский Союз?» Маттиас перечеркнул вопрос. Написал следующий аргумент.

Через несколько минут рядом снова возник вопрос. К вечеру лист был исполосован линиями. Он скомкал бумагу и бросил на пол. Лебедев, зайдя позже, поднял её.

— Не читай.

Андрей положил комок на тумбочку.

— Не буду.

— Тебе всё равно?

— Нет.

— Тогда почему не читаешь?

— Ты сказал не читать.

Маттиас усталился на него. Даже уважение к просьбе раздражало. Всё, что делал Андрей, каким-то образом лишало Маттиаса удобного врага.

— Я ненавижу тебя, — сказал он.

— Возможно.

— Не «возможно». Ненавижу.

— Хорошо.

— И это всё?

— А что ещё должен сделать?

Маттиас отвернулся. Через несколько минут сказал тише:

— Потому что до тебя всё было проще.

Андрей долго молчал.

— Знаю.

В этот вечер Маттиас впервые понял, что сопротивляется уже не человеку. Он сопротивляется необходимости отвечать самому. На следующий допрос Маттиас попросился сам. Орлов удивился, но согласился.

— Хотите что-то добавить?

— Нет. Спросить.

Капитан отложил карандаш. Маттиас долго формулировал.

— Если вы считаете, что Германия напала, зачем вы спрашиваете меня? Вы же уже знаете ответ.

Орлов посмотрел на переводившего Лебедева, потом сно-

ва на Маттиаса.

— Я знаю, когда немецкие войска пересекли границу Советского Союза. Это факт. Я не знаю, что именно вам объясняли и почему вы этому поверили. Это другой вопрос.

— Но вам выгодно, чтобы я сказал, что нас обманывали.

— Возможно.

Маттиас вздрогнул от неожиданности.

— Тогда как я могу вам верить?

— Не обязаны.

Лебедев едва заметно улыбнулся: знакомая формула. Орлов продолжил:

— Именно поэтому есть документы. Даты. Приказы. Свидетельства разных людей. Хорошо, когда вывод можно проверить независимо от того, выгоден он мне или нет.

Маттиас молчал. Он ожидал пропаганды в обратную сторону — русского Беккера, только с другой эмблемой. Вместо этого офицер признавал собственную заинтересованность и предлагал проверять. Это не делало русских автоматически правыми. Но меняло способ разговора.

— А если ваши документы тоже ложь?

— Тогда ищите другие.

— Где?

Орлов устало потер переносицу.

— После войны будет много работы у людей, которые умеют читать архивы.

Тогда фраза показалась Маттиасу почти бессмысленной.

Через несколько лет он вспомнит её в университете. Пока же он вернулся в палату с новым раздражением: даже враг не давал ему удобной причины не думать.

Глава 5. До войны

До войны отец был учителем. Маттиасу понадобилось почти два года после его смерти, чтобы забыть эту простую вещь и превратить Фридриха Крюгера в фотографию в траурной рамке. На фотографии отец выглядел слишком серьёзным. Высокий лоб, круглые очки, воротник застёгнут. Именно таким Маттиас потом вспоминал его чаще всего — будто человек постепенно становился похож на собственный официальный портрет. На самом деле Фридрих Крюгер был неудобным, рассеянным и временами смешным. Он забывал чинить дверцы шкафов, читал за обедом, клал карандаши в сахарницу, а однажды пришёл на школьное собрание в разных носках и заметил только вечером. Мать сердито говорила, что человеку, способному два часа рассуждать о Веймарской классике, можно было бы научиться закрывать окно перед дождём. Отец преподавал историю и литературу. Иногда дома проверял тетради и вслух возмущался штампами учеников.

— «Наш великий немецкий дух». Что это вообще значит? — говорил он.

Маттиас, которому тогда было девять или десять, смеялся.

— Значит, мы великие.

— Очень удобное объяснение.

— А мы не великие?

— Отдельные немцы бывали великими. Другие — глупыми. Третьи — преступниками. Страна не делает всех одинаковыми.

Маттиас тогда считал это скучной взрослой придирчивостью. По воскресеньям отец иногда водил его к реке. Рыбачить Маттиас не любил. Его раздражало сидеть неподвижно ради рыбы, которую можно купить. Но по дороге отец рассказывал истории — не школьные даты, а подробности: как писатели ссорились, как короли боялись, как министры ошибались, как революционеры после победы становились чиновниками.

— Почему в учебниках этого мало? — спросил однажды Маттиас.

— Потому что учебник любит прямые линии. Жизнь редко их предоставляет.

В другой раз, увидев колонну солдат, отец сказал:

— Запомни: армия нужна стране. Но страна — не армия. Если однажды тебе скажут, что Германия существует только там, где маршируют солдаты, не верь.

— Почему?

— Потому что тогда Германия без войны перестанет существовать.

Маттиасу было десять. Он запомнил только последнюю фразу и вскоре забыл. Потом появилась организация. Сначала-

ла всё было простым и привлекательным. Походы. Костры. Спорт. Соревнования. Новая форма. Чувство, что ты становишься старше и принадлежишь к огромному сообществу, в котором каждый знает своё место. Маттиас возвращался домой возбуждённый, рассказывал о маршах, песнях, заданиях. Отец слушал. Не запрещал. Мать однажды спросила:

— Почему ты его не остановишь?

— Потому что запрет сделает их интереснее меня.

— А так?

— Так хотя бы будет разговаривать.

Отец поступал хуже любого запрета: задавал вопросы.

— Руководитель сказал, что евреи виноваты в поражении и бедности, — однажды рассказал Маттиас.

— Какие именно евреи?

— Что?

— Имена.

— Все знают.

— «Все знают» — опасная фраза.

— Почему?

— Потому что после неё обычно перестают проверять.

Маттиас сердился.

— Ты всегда споришь.

— Работа такая.

— Почему ты не можешь просто быть за Германию?

Отец снял очки.

— А кто сказал, что спорить с немцем значит быть против

Германии?

Тогда Маттиасу казалось, отец боится нового времени. Страна менялась быстро: флаги, парады, речи, строительство, формы, чувство силы после лет унижения. Учительские сомнения казались жалкими рядом с уверенностью людей на трибунах. Самое опасное происходило незаметно. Слова менялись. Сначала «товарищество». Потом рядом появилось «единство». Затем — «чистота». «Кровь». «Верность». «Враг». «Жертва». Маттиас не помнил дня, когда начал использовать их всерьёз. Они просто вошли в речь, как новые выражения, услышанные от старших.

В школе некоторые учителя менялись тоже. Один исчез. Сказали, что переведён. Другой стал начинать урок с политического сообщения. На стенах появлялись портреты. История постепенно становилась доказательством того, что настоящее неизбежно и правильно. Отец раздражался всё чаще. Однажды вечером он вырвал из газеты статью и положил перед Маттиасом.

— Прочитай заголовок.

— «Еврейская угроза немецкой культуре».

— Теперь статью.

Маттиас прочитал.

— Сколько там конкретных фактов?

— Что?

— Имен, дат, документов, поступков.

Маттиас начал искать. Почти ничего.

— Зачем тогда написано?

— Потому что правда.

— Откуда знаешь?

— Опять начинаешь.

Он ушёл, хлопнув дверью. Позже мать сказала:

— Ты мог бы быть мягче.

Отец ответил так тихо, что Маттиас услышал только потому, что стоял за дверью:

— Боюсь, потом будет поздно.

Летом 1941 года наступило то самое «потом». Утром по радио сообщили о начале войны с Советским Союзом. Маттиас слушал, чувствуя возбуждение и страх одновременно. Речь была стройной: угроза с Востока, превентивный удар, защита Европы. Отец долго молчал за завтраком. Потом сказал:

— Мы напали.

Мать резко подняла голову.

— Фридрих, не при детях.

— Ему двенадцать. Через несколько лет его могут отправить воевать. Пусть хотя бы знает, кто первым перешёл границу.

— Ты повторяешь вражескую пропаганду, — выпалил Маттиас.

Отец посмотрел на него без гнева.

— Граница — не пропаганда.

Маттиас ненавидел его за спокойствие. В тот день он ушёл

на занятие, не попрощавшись. Первые месяцы войны казались доказательством правоты всех, кроме отца. Сводки шли одна за другой, города на карте отодвигались восточнее, руководители говорили о скорой победе. Маттиас чувствовал почти торжество, когда вечером смотрел на отца: вот видишь. Фридрих не спорил.

Позже письма знакомых становились реже. В домах появлялись траурные рамки. Сводки меняли тон. Маттиас этого не замечал или не хотел замечать. Потом отца призвали. Это произошло не сразу. Возраст, профессия, какие-то отсрочки держали его дома дольше многих. Когда повестка всё-таки пришла, мать села за стол и долго смотрела на бумагу. Отец прочитал два раза, сложил и сказал:

— Ну что ж.

Маттиас ожидал другой реакции. Решительности. Гордых слов. Вместо этого отец вечером чинил давно сломанную дверцу шкафа.

— Зачем сейчас? — спросил Маттиас.

— Чтобы мать потом не ругалась, что ушёл и оставил.

— Ты же вернёшься.

Отец посмотрел на него.

— Надеюсь.

Слово разозлило.

— Все вернутся после победы.

— Маттиас.

— Что?

— Не требуй от людей обещаний, которых они не могут дать.

Перед отправкой отец достал том Гёте.

— Возьми.

— Зачем?

— Книги иногда переживают людей.

— Ты опять.

— Я не собираюсь умирать. Но это не значит, что смерть спрашивает мои планы.

Маттиас не хотел слушать. У двери отец положил ему руку на плечо.

— Запомни одну вещь. Не позволяй никому думать вместо тебя.

— Я умею думать.

— Тогда не отдавай это умение. Ни мне. Ни учителю. Ни человеку в самой красивой форме.

Маттиас кивнул только для того, чтобы закончить разговор. Письма с Востока приходили нерегулярно. Отец почти не писал о боях. Спрашивал о школе, о матери, о Лотте. Жаловался на холод, на грязь, на то, что книги быстро портятся. Несколько раз появлялись странные фразы. «Здесь многое не похоже на то, что нам рассказывали дома». «Люди остаются людьми, даже когда нам удобнее считать их только врагами». «Иногда приказ легче выполнить, чем потом вспомнить». Маттиас не задерживался на этих строках. Они мешали ясной картине. В 1943 году пришло извещение. Мать

открыла конверт у окна. Сначала читала молча, потом села. Лотта не понимала, что происходит. Маттиас выхватил бумагу. «Пал смертью храбрых». Три слова. Он перечитал их много раз. Они стали спасением.

Если отец погиб храбро, смерть имела высокий смысл. Если имела смысл — война была необходима. Если война необходима — сомнение в ней оскорбляет отца. Логика была простой, почти безупречной, и именно поэтому Маттиас держался за неё так крепко. Боль превратилась в обязанность. Организация быстро подхватила это. Беккер говорил правильные слова:

— Твой отец выполнил долг. Теперь твоя задача быть достойным.

Маттиас выпрямлялся. Каждая похвала делала отца чуть менее живым и чуть более похожим на монумент. Он перестал вспоминать, как Фридрих забывал зонтик или плохо пел. Помнил только форму, фотографию, извещение. Горе стало удобным для идеологии именно потому, что Маттиас сам хотел этой удобности. Теперь, лежа в госпитале среди тех самых русских, от которых его учили защищать память об отце, он вдруг вспомнил последнюю фразу у двери. Не позволяй никому думать вместо тебя. От этой памяти стало почти физически стыдно. Не потому, что он разлюбил отца. Наоборот. Потому что впервые понял: возможно, два года он защищал отцовскую смерть именно тем способом, которого сам отец боялся больше всего. Маттиас попытался прогнать

мысль. Она вернулась вечером. Потом ночью.

Утром он разозлился на Лебедева, хотя тот даже не приходил. Так началось сопротивление. Не русским. Самому себе. На следующий день воспоминания об отце приходили не по порядку. Не война. Не похоронка. Сначала обычные вещи. Фридрих Крюгер за столом проверяет школьные тетради и красным карандашом подчёркивает одно и то же слово у трёх учеников. Сердится, что дети повторяют готовую формулировку из учебника. «Если все написали одинаково, значит, либо я гениально объяснил, либо никто не думал», — говорит он матери. Маттиасу десять. Он смеётся, не понимая. Другой вечер. Отец слушает радио, потом внезапно выключает.

— Почему?

— Потому что человек слишком уверен в том, чего не может знать.

— Но по радио сказали официально.

— Официальность — это происхождение утверждения. Не доказательство.

Тогда Маттиас закатил глаза. Отец умел испортить даже новости. После вступления в Гитлерюгенд разговоров стало больше. Не громких скандалов. Именно разговоров — оттого они раздражали сильнее. Фридрих спрашивал, что понравилось на занятии, что говорил руководитель, почему мальчики повторяли клятву именно такими словами.

— Ты против организации? — однажды спросил Маттиас.

Отец посмотрел на него внимательно.

— Я против того, чтобы любая организация становилась больше твоей совести.

— Это красивые слова.

— Да. Поэтому не верь им только из-за красоты.

Маттиас ушёл, хлопнув дверью. Теперь, вспоминая, он испытывал почти физическое унижение. Сколько раз отец оставлял ему предупреждения, а он превращал их в раздражающие особенности взрослого человека. После смерти всё неудобное исчезло. Осталась фигура солдата, которую можно было поставить рядом с любым лозунгом. Самое тяжёлое заключалось не в том, что организация воспользовалась его горем. Маттиас сам позволил воспользоваться. Ему нужен был смысл. Нужна была причина, по которой отец не вернулся. Случайный осколок, ошибочный приказ, чужая политическая воля — всё это было невыносимо. Гораздо легче сказать: погиб за Германию. Тогда смерть становилась платой, а не потерей. Маттиас лежал и думал, что человек иногда защищает идеологию не потому, что она убедительна, а потому, что без неё приходится заново пережить старое горе. От этой мысли он устал сильнее, чем от упражнений для ног. Когда пришёл Лебедев, Маттиас спросил:

— Если окажется, что мой отец погиб зря, что мне тогда делать?

Андрей ответил не сразу.

— Не знаю.

Маттиас усмехнулся без злости.

— Конечно.

— Но человек не становится зря прожившим только потому, что причина его смерти была ложной.

Маттиас посмотрел на него. Эта мысль была ещё слишком тяжёлой, чтобы принять. Но впервые он не попытался немедленно её отвергнуть. В одном из последних писем отец писал о русском учителе, которого встретил в какой-то деревне. Письмо сохранилось плохо; часть строки была размыта водой. Фридрих не называл фамилии и почти ничего не объяснял. «Сегодня говорил с человеком, который до войны преподавал детям. Мы едва понимали друг друга, но оказалось, что школьная усталость интернациональна. Он показал мне старый учебник. Я подумал, что при других обстоятельствах мы могли бы спорить о методике, а не стоять друг перед другом в форме». Маттиас раньше пропускал этот абзац. В нём не было ничего героического. Теперь читал снова и снова. Отец встретил на Востоке человека, который не вписывался в слово «русский». Точно так же Маттиас встретил Лебедева. Повторение было почти пугающим.

— Почему он не написал больше? — спросил Маттиас у матери.

— Наверное, боялся цензуры.

— Или себя.

Мать посмотрела.

— Что?

— Если написать слишком много, придётся признать, что враг похож на тебя.

Она долго молчала.

— Возможно.

Маттиас впервые услышал от матери это слово без раздражения. Потом она достала из ящика ещё два письма, которые прежде не показывала.

— Почему?

— Ты был слишком сердит после его смерти.

— Это мои письма тоже.

— Нет. Они были мне.

Маттиас хотел спорить, но остановился. Ещё одна граница: близость не даёт права на всё. Мать сама протянула листы. В одном отец писал, что устал от фраз о судьбе Германии. «Я всё чаще хочу, чтобы судьба Германии на несколько дней обошлась без меня», — стояло там. Маттиас почувствовал одновременно облегчение и обиду. Почему отец никогда не говорил этого ему? Почему оставил сына один на один с Беккером и красивыми словами? Потом понял несправедливость вопроса. Отец ушёл на фронт, когда Маттиас был ребёнком. Возможно, думал, что вернётся и успеет договорить. Война отняла не только человека. Она оборвала разговор.

Теперь Маттиасу приходилось продолжать его самому. Однажды мать до войны застала Маттиаса, когда он вырезал из газеты фотографию колонны Гитлерюгенда. Он хотел прикрепить её над столом.

— Красиво, — сказала она.

Он обрадовался.

— Да.

— Именно поэтому будь осторожен.

Маттиас тогда не понял.

— С чем?

— С красивыми вещами, которые требуют от тебя согласия.

Он пожал плечами. Мать редко говорила о политике и потому её замечание не запомнилось как важное. Теперь оно всплыло с неприятной ясностью. В семье не было тайного сопротивления. Никто не собирался ночью слушать запрещённые передачи, не прятал преследуемых, не писал листовки. Отец сомневался и всё же пошёл служить. Мать боялась и молчала. Они были обычными людьми — именно это позже станет для Маттиаса самым трудным материалом для размышлений. Зло не всегда требует фанатиков. Иногда ему достаточно миллионов людей, которые не хотят рисковать привычной жизнью. Но пятнадцатилетний Маттиас пока ещё не мог думать так далеко. Ему нужно было сперва разрешить себе другое: признать, что отец мог сомневаться и всё равно подчиняться. Это разрушало удобное деление на героев и трусов.

Вечером он попросил вернуть том Гёте. Лебедев принёс. Маттиас открыл форзац. Инициалы отца были на месте. На нескольких страницах карандашом стояли старые знаки во-

проса, подчёркивания, короткие замечания.

— Ты читал пометки? — спросил он.

— Несколько.

— Это личное.

— Да. Извини.

Маттиас уже приготовился обвинить его в бесцеремонности, но простое извинение лишило спор энергии. Он провёл пальцем по одной из отцовских строк. «Кто говорит от имени народа — ещё не становится народом». Маттиас долго смотрел. Не помнил, чтобы отец когда-нибудь произносил это вслух. Впервые книга стала не памятником отцу, а разговором с человеком, которого Маттиас, возможно, при жизни слушал слишком мало. Он закрыл книгу и долго держал ладонь на обложке. Отец не отвечал и уже никогда не ответит. Это тоже приходилось принимать: никакой найденный лист не даст полного объяснения человеку.

Оставались обрывки, противоречия, чужие воспоминания — и обязанность не превращать их в удобный приговор. Маттиас ещё не был к этому готов. Но впервые понял, что готовность не обязательна для первого шага.

Глава 6. Последняя стена

Весной 1945 года пропаганда перестала обещать победу. Она стала обещать смысл смерти. Перемена произошла не в один день. Ещё зимой по радио говорили о новом оружии, о резервных армиях, о переломе, который будто бы наступит

после очередного удара. В газетах стрелки на картах рисовали аккуратно и крупно, так что отступление иногда выглядело почти как манёвр. В школе учитель географии однажды снял настенную карту и больше не повесил: линии фронта устаревали быстрее, чем их успевали исправлять мелом. Потом исчезли обещания наступления. Остались другие слова: долг, верность, честь, крепость, жертва. Маттиас заметил это не сразу. Ему казалось, что язык остался прежним. Но раньше им объясняли, почему они победят. Теперь объясняли, почему поражение не должно означать, что можно остаться в живых.

Беккер собирал подростков всё чаще. Сначала занятия шли в школьном дворе, потом в спортзале, затем в подвале, когда начались налёты. Он говорил уверенно, как и прежде, но Маттиас стал замечать мелочи, которых раньше не видел: пот на висках, торопливость, раздражение, когда кто-то задавал слишком конкретный вопрос.

— Где наши новые танковые части? — спросил однажды Юрген Шольц, один из товарищей Маттиаса по группе.

Беккер посмотрел на него так, будто вопрос был почти неприличным.

— Они выполняют задачи, о которых вам знать не положено.

— Но русские уже близко.

— Поэтому тем более каждому надо знать своё место.

Ответ не отвечал ни на что. Но прозвучал достаточно

твёрдо, чтобы все замолчали. Во дворе школы поставили длинный стол. На нём лежали винтовки, гранаты, несколько фаустпатронов. Их было двадцать три. Самым младшим — четырнадцать, старшим — шестнадцать. Основной призыв в Фольксштурм формально охватывал мужчин от шестнадцати до шестидесяти лет, но в последние месяцы войны к обороне всё чаще привлекали и более младших воспитанников Гитлерюгенда. На месте юридические границы быстро размывались. Винтовка не спрашивала дату рождения. Четырнадцатилетний Карл Вебер рассматривал фаустпатрон почти с восхищением.

— Этим действительно можно остановить танк?

Инструктор кивнул.

— Если не дрогнешь.

Фраза повисла над всей группой. Не «если правильно выстрелишь», не «если подойдёшь достаточно близко», а «если не дрогнешь». Технический навык превращался в испытание характера. Маттиас понял это только намного позже. Тогда ему нравилась ясность. Вот оружие. Вот враг. Вот расстояние. Вот правильное действие. После месяцев тревожных сводок и неопределённости это даже успокаивало.

— Каждый дом должен стать крепостью, — говорил Беккер. — Каждый квартал — рубежом. Каждый из вас — последняя стена.

Двадцать три мальчика выпрямлялись. Маттиас тоже. Страх пришёл вечером, когда он впервые остался один с фа-

устпатроном в школьном коридоре. Оружие стояло у стены рядом с шкафом, где раньше хранились географические карты. Маттиас протянул руку, коснулся холодной трубы и представил танк, который идёт прямо на него. Представил, как надо подпустить ближе. Как не отступить. Как выстрелить. В учебном объяснении после выстрела ничего не происходило. В реальности танк мог продолжать двигаться. Пехота могла открыть огонь. Можно было промахнуться. Можно было вообще не успеть поднять оружие. Эту часть инструкции никто не обсуждал. Когда Маттиас спросил, где после выстрела укрываться, инструктор показал на дверной проём.

— Если успеешь.

— А если нет?

Мужчина пожал плечами.

— Значит, выполнишь долг.

Маттиас кивнул, словно услышал исчерпывающий ответ. Ночью он долго не спал. Мать ходила по квартире и складывала вещи в сумку для убежища. Лотта сидела на полу и рисовала. Маттиас чистил винтовку, которую ему разрешили принести домой перед распределением.

— Убери это со стола, — сказала мать.

— Почему?

— Здесь едят.

— Это оружие.

— Я вижу.

Он услышал в её голосе не страх, а злость.

— Ты не понимаешь. Город надо защищать.

Мать долго смотрела на него.

— От кого?

— От русских.

— А тебя кто защитит?

Маттиас раздражённо отложил тряпку.

— Я сам могу.

— Тебе пятнадцать.

— И что?

— Ничего.

Она отвернулась. Это «ничего» задело сильнее спора. Маттиас хотел, чтобы мать гордилась. Ему хотелось услышать: ты стал мужчиной, отец бы тобой гордился. Но мать молчала. Лотта спросила:

— Ты будешь стрелять в людей?

— Если придётся.

— А они в тебя?

Маттиас замер.

— Не мешай.

Лотта больше ничего не сказала. На следующий день школу окончательно перестали использовать как школу. В спортзале сложили боеприпасы. Кабинет географии превратили в перевязочный пункт. На стенах всё ещё висели карты, но между партами стояли ящики с бинтами. В коридоре пахло мелом, машинным маслом и металлом. Маттиас шёл по

знакомому зданию и испытывал гордость от того, что всё стало серьёзным. Никто больше не требовал учить латинские окончания. История ворвалась внутрь и отменила уроки. Только спустя годы он поймёт, насколько легко подростка соблазнить ощущением, что обычная жизнь закончилась и началась настоящая. Беккер распределял позиции.

Маттиасу достался дом на перекрёстке. С ним направили почтальона Рота, зачисленного в Фольксштurm, и местного партийного чиновника Фалька, которого Маттиас раньше видел на митингах. Фальк носил хороший плащ и говорил громче всех.

— Держаться будем до подхода подкрепления.

— Какого? — спросил Рот.

Фальк сердито посмотрел.

— Приказ есть приказ.

— Я спросил про подкрепление.

— Не вам знать оперативную обстановку.

Маттиас внутренне поддержал Фалька. Рот казался ему неприятным стариком, который всё время ищет причины сомневаться. Дом готовили несколько часов. Перетащили мебель. Нашли проходы между квартирами. Выбили часть стены, чтобы можно было менять позиции. Маттиас работал старательно, почти с удовольствием. Делать было легче, чем думать.

Вечером начался обстрел. Фальк говорил о стойкости, пока рядом были другие. Ночью исчез. Маттиас проснулся от

тишины и сначала не понял, что изменилось. Потом увидел пустое место у стены, где лежало пальто Фалька. Исчез и небольшой чемодан, который тот всё время держал рядом.

— Где он? — спросил Маттиас.

Рот пожал плечами.

— Ушёл.

— Куда?

— Не оставил записки.

— Получил другое задание.

Рот посмотрел на него, но ничего не сказал.

— Что?

— Ничего.

Маттиас ненавидел это взрослое «ничего». Днём они почти не стреляли. Советские части двигались по другой улице. Иногда слышались моторы. Несколько раз над домом просвистели снаряды. Маттиас ждал атаки и чувствовал, как страх постепенно превращается в усталость. Рот сидел у стены и пытался закурить. Руки дрожали так сильно, что спичка гасла.

— Боишься? — спросил Маттиас.

Сразу пожалел о вопросе. Рот наконец прикурил.

— Да.

— Я тоже, — хотел сказать Маттиас.

Но не сказал. Рот затянулся.

— Моему сыну было семнадцать.

Маттиас посмотрел.

— Погиб под Кёнигсбергом.

Он знал готовую формулу.

— Пал героем?

Рот повернул голову. В его лице было что-то такое, отчего Маттиас сразу понял: ответ неправильный.

— Сыном, — сказал Рот. — Он пал моим сыном.

Маттиас не нашёл слов. Через некоторое время Рот рассказал, что сын мечтал стать столяром. Делал маленькие деревянные модели. Плохо учил математику. Боялся стоматолога. Маттиас слушал и испытывал неловкость. Всё это казалось неуместным рядом с погибшим героем. Герой должен был быть сильным, серьёзным, законченным. А Рот возвращал сыну какие-то мелочи, будто нарочно мешал красивой памяти.

— Он хотел жить, — сказал почтальон.

Маттиас возразил:

— Все хотят. Но долг важнее.

Рот посмотрел на него устало.

— Кто тебе это сказал?

Маттиас почувствовал знакомое раздражение.

— Все.

Рот усмехнулся без радости.

— Береги это слово.

Ночью он ушёл. Маттиас проснулся и увидел, что второй матрас пуст. На ящике лежал оставленный ремень. В доме стало совсем тихо.

— Трус, — сказал Маттиас вслух.
Произнёс громче. Потом ещё раз:
— Трус.

Слово должно было объяснить всё. Но не объяснило. Если Рот уже потерял сына и не хотел, чтобы жена получила второе извещение, почему это было трусостью? Если Фальк исчез первым, почему именно мальчики должны оставаться? Если город можно удержать только ценой смерти тех, кому четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, что именно они защищают? Маттиас прогнал вопросы.

Утром на улице появились советские солдаты. И он начал стрелять. Первый раз руки тряслись. После выстрела стало легче. Он поменял окно, как учили. Второй выстрел прошёл мимо. Третий, кажется, попал. Один солдат у телеграфного столба сел на мостовую. Маттиас не почувствовал радости. Почувствовал спокойствие. Значит, всё не зря. Значит, он настоящий. Значит, Рот ушёл, потому что слабый, а он остался, потому что верный. После каждого выстрела эта мысль становилась нужнее. Он стрелял уже не только по советским солдатам. Он защищал от сомнений собственное решение остаться.

К вечеру патроны закончились. Взрыв обрушил часть перекрытия. Осколок ударил в спину. Балка придавила ноги. Маттиас на несколько минут потерял сознание. Когда очнувшись, первое, что сделал, — проверил гранату. Она была на месте. Последняя стена. Так говорил Беккер. Теперь, в госпита-

ле, память возвращалась иначе. Фальк ушёл. Рот ушёл. Беккер, вероятно, тоже понимал, что город не удержать. Взрослые видели карты. Слышали сводки. Знали, какие части отступили и какие дороги перерезаны. Они обладали всей той информацией, которой не было у пятнадцатилетнего Маттиаса. И всё же двадцати трём подросткам сказали стать последней стеной. Он долго лежал, глядя в потолок.

Сначала пришло желание оправдать Беккера. Может быть, тот верил. Может быть, приказ был действительно необходим. Может быть, существовало подкрепление, которое не пришло. Может быть, Фальк получил секретное задание. Может быть, Рот просто струсил. Маттиас перебирал версии, пока не почувствовал усталость. Слишком много «может быть» требовалось, чтобы сохранить прежнюю картину. Впервые он почувствовал не гордость за то, что остался. Ярость. Не на русских. На взрослых, которые знали больше и всё равно решили, что детская смерть может оказаться достойнее взрослой жизни. И эта ярость испугала его сильнее сомнений. Потому что если Беккер мог быть неправ, то неправым мог оказаться не один человек.

На следующий день ярость никуда не исчезла. Напротив, она стала тише и оттого тяжелее. Маттиас поймал себя на том, что ждёт прихода Лебедева только затем, чтобы высказать всё сразу: про Беккера, про Рота, про Фалька, про взрослых, которые знали больше. Но когда Андрей появился, привычно сел на подоконник и спросил, как ноги, Мат-

тиас неожиданно промолчал.

— Что? — спросил Лебедев.

— Ничего.

— Тогда у тебя очень сердитое «ничего».

Маттиас отвернулся. Он боялся, что стоит произнести обвинение вслух — и оно станет новым удобным ответом. Вчера виноваты были русские. Сегодня — Беккер. Завтра можно будет найти ещё кого-нибудь. А собственное место в этой истории так и останется пустым.

— Если мне дали оружие, это ведь не значит, что я был обязан стрелять, — сказал он наконец.

Андрей не ответил сразу.

— Нет.

Маттиас раздражённо повернулся.

— Ты мог бы хоть раз сказать, что я ни в чём не виноват.

— Мог бы. Только это было бы неправдой.

Слова ударили сильнее, чем Маттиас ожидал. Он почувствовал, как горячая волна поднимается к лицу.

— Мне пятнадцать.

— Да.

— Меня учили.

— Да.

— Мне говорили, что это долг.

— Да.

— Тогда что ещё тебе надо?

Лебедев посмотрел на него без жалости, но и без обвине-

ния.

— Ничего. Просто две вещи могут быть правдой одновременно. Взрослые отвечают за то, что поставили тебя туда. А ты всё равно был человеком, который нажимал на спуск.

Маттиас сжал одеяло.

— Удобно.

— Наоборот. Неудобно.

Это было верно, и именно поэтому хотелось спорить. Несколько минут они молчали. Потом Лебедев спросил:

— Когда ты впервые понял, что боишься?

Маттиас усмехнулся.

— Я не боялся.

Андрей ничего не сказал. Маттиас выдержал секунд десять.

— В школе, — буркнул он. — Когда дали фаустпатрон.

— И что сделал?

— Ничего.

— Кому-нибудь сказал?

— Конечно нет.

— Почему?

— Потому что остальные не боялись.

Он произнёс это и сразу понял, насколько глупо звучит. Карл спрашивал про танк слишком быстро. Юрген шутил громче обычного. Один мальчик перед построением дважды бегал в уборную. Руки у инструктора дрожали, когда тот курил. Может быть, боялись все. Просто каждый видел толь-

ко чужую выпрямленную спину и прятал собственный страх. Эта мысль оказалась неприятнее обвинений. Если страх был общим, значит, Беккеру не требовалось создавать бесстрашных детей. Достаточно было научить их стыдиться того, что они чувствуют. Маттиас вспомнил мать, велевшую убрать винтовку со стола. Тогда её слова показались почти оскорблением оружия. Теперь он впервые услышал за ними другое: она хотела оставить хотя бы кухонный стол местом, где он остаётся сыном, а не солдатом.

Вечером Анна принесла таз с тёплой водой и велела самому попытаться умыться. Руки быстро устали, спина заболела, вода расплескалась на простыню. Маттиас разозлился так, что швырнул полотенце.

— Nicht! — резко сказала Анна.

Он ожидал выговора. Она просто подняла полотенце, положила обратно и показала на таз.

— Noch einmal, — сказала Анна, подкрепив слова жестом.

Смысл был ясен не из русской речи, а из жеста и единственной немецкой фразы. Снова взял полотенце. Ему вдруг стало стыдно не за слабые руки, а за то, насколько легко он привык представлять мужество только там, где есть оружие. Попытаться второй раз умыться после того, как тело не слушается, оказалось унизительно труднее, чем когда-то выпрямиться перед Беккером. Он закончил сам. Анна кивнула и унесла таз, не похвалив. Маттиас смотрел ей вслед и думал, что, возможно, взрослые слишком долго учили его только

одному виду стойкости — той, которая хорошо выглядит на плакате. А жить, похоже, требовало совсем других навыков. Последняя ночь перед занятием позиции запомнилась Маттиасу запахом кофе, которого почти не было. Мать заварила суррогат и поставила перед ним кружку. Он сидел в форме, винтовка прислонена к стене. Лотту отправили спать, но она не спала — Маттиас видел полоску света под дверью. Мать не уговаривала остаться. Это злило.

— Тебе всё равно?

Она подняла глаза.

— Если скажу не идти, ты останешься?

Маттиас замолчал.

— Нет.

— Тогда зачем мне просить?

— Потому что ты мать.

— Именно поэтому я не хочу превращать последнюю ночь в спор, который ты потом будешь помнить вместо меня.

Эти слова он понял только после войны. Тогда решил, что мать сдалась. Она достала отцовский шарф.

— Возьми. Ночью холодно.

— Мне не нужен.

— Маттиас.

Он взял. Несколько минут они сидели молча.

— Отец пошёл, — сказал Маттиас.

Мать закрыла глаза.

— Да.

— Значит, я тоже должен.

— Нет.

Ответ прозвучал так резко, что он вздрогнул.

— Почему?

— Потому что твой отец — не инструкция.

Маттиас вскочил.

— Ты оскорбляешь его.

— Я жила с ним. Не ты один имеешь право его помнить.

Он ушёл, не попрощавшись нормально. Эта ссора стала одним из самых тяжёлых воспоминаний госпиталя. В разрушенном доме он был почти готов умереть, так и оставив матери последними словами обвинение в недостаточной верности отцу. Позже Маттиас поймёт: идеология умеет присваивать даже семейную память, заставляя ребёнка защищать умершего от человека, который любил его живым. Воспоминание о школьном дворе возвращалось теперь вместе с деталями, которые прежде казались незначительными. Карл, слишком быстро вытирающий ладони о брюки перед тем, как взять фаустпатрон. Юрген, шутящий про русские танки так громко, что Беккер велел ему замолчать. Мальчик по имени Фриц, попросившийся домой из-за больного живота и вернувшийся через час с красными глазами. Тогда Маттиас видел в каждой отдельную слабость. Теперь впервые допустил: возможно, это был один и тот же страх, только спрятанный разными способами. Если так, вся система работала удивительно экономно. Не нужно было делать детей бес-

страшными. Нужно было лишь убедить каждого, что остальные не боятся.

За день до этого в палате появился ещё один немецкий раненый. На соседнюю койку привезли Вильгельма Хартмана, пехотинца лет сорока с простреленным плечом. Пуля прошла навывлет, опасности для жизни не было, но руку он пока держал на перевязи. Хартман говорил мало, спал урывками и поначалу отвечал односложно. Маттиас обрадовался взрослому немецкому солдату сильнее, чем хотел показать. Ему казалось, что человек, прошедший фронт, наконец подтвердит: всё не так однозначно, как говорят русские, а прежний мир ещё можно объяснить без полного крушения. Но Хартман оказался слишком уставшим для удобных ответов. Маттиас рассказал об этом Хартману, когда тот уже мог сидеть.

— Так всегда в армии, — сказал тот.

— Что?

— Боятся почти все. Просто взрослому легче знать, что страх нормален. Хотя и нам не всегда легче.

— Тогда зачем говорят про бесстрашие?

Хартман усмехнулся.

— Потому что «умей действовать, когда страшно» слишком длинно для плаката.

Маттиас помолчал.

— Беккер говорил, что настоящий немецкий юноша не знает страха.

— Значит, он плохо знал юношей.

Фраза была смешной. Но Маттиас не улыбнулся. Он вдруг понял, сколько лет потратил на борьбу не со страхом, а со стыдом за страх. Это различие казалось маленьким и одновременно огромным. Война кончалась не только вокруг него. Она медленно переставала быть внутренним экзаменом, который он обязан сдавать каждую минуту.

Глава 7. Почему вы остались живы?

Маттиас долго не мог забыть Рота. Не потому, что почтальон был важной фигурой в его прежней жизни. Наоборот. Рот относился к тем взрослым, которых подростки почти не замечают: приносил письма, здоровался с соседями, зимой ворчал на скользкие улицы. Он не произносил речей и не носил красивой формы. Именно поэтому его уход тревожил. Если даже такой человек в последнюю ночь решил, что имеет право не умирать, что тогда происходило со всеми словами о долге? Маттиас несколько раз пытался восстановить события по минутам. Фальк исчез ночью. Рот остался дольше. Значит, не было общего приказа отступать. Рот сам решил уйти. Сам. Это слово снова оказалось опасным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.